



Колесил,
колесил —
исколесил,
все, что вблизи,
покатил дальше —
через большак и пашни,
через орешник фисташковый,
мимо водонапорной башни —
символа дня вчерашнего,
мимо деревни, где простокваша,
и города, где опавшим
листьям смысленные первоклашки
уделяют внимание —
взяв процесс увядания,
как открытую данность,
и воплотив в гербарии
мысль о бессмертии — пока не украли
и эту иллюзию
педагоги школы и вуза,
начальники-моралисты,
держатели акций истины,
проворные толмачи,
рвачи казенной парчи.

Колесил,
колесил
до упадка сил —
увяз в грязи
среди топких низин.
В заводах — ходят язи,
в полях — колосятся озимые,
но на оси —
сломано колесо,
а из-за темных лесов
всходит луна —
холодной валуна,
хоть и ликом — апостол Лука.

Здесь — на отшибе —
кажутся села большими,
и сосны своими вершинами —
будто метут Млечный Путь.
Доколесить как-нибудь,
доколесить как-нибудь
до кузнечика —
в травах замеченного —
до всхлипа
надломленной липы,
до трепетной птицы,
в которую переродится
весь этот гул,
до себя, что в прямом стогу
наблюдал звездопад
и клубящийся пар
в колдобинах хлипких дорог —
до всего, что догнать не мог...



Настасья Филипповна
топит печь
исключительно тысячами
рублей — сотнями тысяч,
миллионами —
а потом глядит,
как падают в обморок
в них влюбленные
персонажи длинных романов
и несет им воды
в отогретых ладонях —
вот с этого места
и кончается водевиль
да начинается месса,
в которой надрывная музыка
выдыхает робкое имя
в органную духоту...
Что написано кровью —
не переводится никакими
цифрами и словами,
брошенными на лету
в прихожей
на язык репродукций,
где кровь остужают в ванне
перед тем, как дать окунуться
или запить десерт...
Так ведь, Рогожин?

Швыряет охапкой
Настасья Филипповна
деньги в огонь —
пляшет пламя
в дорогих нарядах,
и это уже не липа —
это — как бы вскричала толпа —
о-го-го!
Репетиция ада
или просто — слаба,
на самом-то деле — слаба,
вот и хочется воя
в печной трубе —
так, чтоб слышало небо,
чтоб таял на стеклах лед
и купленный ком несвободы
рассыпался на шум голубей
где-то под крышей —
отголоском высот.

Горит-горит ясно —
рычит да ежится,
корчится, стонет.
Были тысячи — выпекла грош.
А в конце — лягушачья кожица
пузырями пошла.
В доме стало натоплено,
но вскричала душа,
наскочив на садовый нож...



Лето — уже тире,
дефис, пробел,
многоточие. Сирень —
давно не символ в борьбе
жизни и смерти —
скоро пепел в карманах
станет единственной почвой на свете,
не скрытой снегами. Рано
темнеет — август.
Дождь, дождь —
с атмосферных фронтов надвигаясь,
сыплется пряная дрожь
грядущего листопада.
Город — вытянул каменное лицо
в сторону автострады,
что ложится под колесо
громче и резче —
будто торопит конец

размеренной речи
про тающий леденец...
Эстетика августа —
в том, что еще есть листва,
еще работает ластами
лягушка в пруду, еще береста —
не единственный довод березы,
еще в парке можно постичь
безграничность воздуха,
в котором голубь — не дичь,
но примета пространства.
Август — фонарный столб
на углу, где едут на красный
полночные лихачи — лоб в лоб
с пеленой и надвинутой тенью.
В свете лампы закружится лист,
а пока данность не пожелтела —
жизнелюбию красок дивись.



«Красота уходит», —
вздыхает старый маляр,
не найдя в новой смете
ни гуаши, ни акварели, —
значит, голые стены
опять воплотятся в пожар
больничной слепой белизны,
что сожрет на огромной
брачной постели
своего жениха —
шедшего в топкой грязи
к ненаглядной свободе,
но упавшего в пепел и пыль.
Здесь, должно быть, откроется магазин,
где по полкам разложат
много и много сотен
насушенных вещей,
или, может, тут встанет польнь
офисной скуки
во весь пустырь помещений.

Маляр мажет мелом
гладкую плоскость стены —
ритмичны движения,
уверенны руки,
но красота уходит
под слой белизны,
так с сожалением
констатирует он,

и комнаты контур упругий
сжимает певчее горло
волнительной птицы внутри,
которую разровнял мастеров.

Белизна — нема.
Ни слова о цвете,
ни возгласа о глубине
обретенной поверхности —
только холод щеки,
выбритой в процессе
общения с зеркалом,
в котором — крестятся нехристи,
и главенствует общепит,
переходящий желудочный тракт по зебре.

Красота уходит —
да здравствует красота.
Старый маляр
окунает дежурную кисть.
Его работа сегодня проста.
Впрочем, как и вчера.
Вверх-вниз, вверх-вниз.
Все бело — бледно и немощно.
Позовите врача...



Машины — вдоль
трогуара. Парковка по берегам
мертвой реки, чья юдоль —
бега, бега, бега —
скрежет и сизый дым.
Город — встает над солнцем,
позже — солнце встает над ним.
Нам же — внутри — остается
отмечать дни недели
уже бледным маркером
или просто — карандашом, что для дела
летописца аккуратного
даже более, чем уместен —
дерево в «Повести временных лет»
было как камень для текста
скрижалей, как монумент
топорной работе —
и сегодня в нем — древко стрелы.
Кошка греется на капоте —
пока кони под ним теплы.

Эта улица — носит свой панцирь
на манер виноградной улитки —
будто перстень на пальце,
окунаемом в жидкий
кисель квартала
на поминках или крестинах.
Перекованный на орало —
меч висит над Дамоклом в гостиной
и царапает кончиком темя —
нераспаханный грубый суглинок,
из которого слеплено и все наше тело —
до последних на донце чайнок...

Город — выполнил
роль статиста.
Снова с гиканьем
оживились кулисы,
и механика коллективного сердца
запустила по кругу кровь,
находя в горячем процессе
упоение спорной игрой.
Шаг — прочерчен,
и форма — дала фору.
Человечек —
хочет звучать хором...



Жаба — пучит
глаза в омуте цифр.
Мы с тобой живучие —
могли б захиреть от цинги
или от чахлого света,
сквозь щель занавесок
втекшего в глаз по руслу индийского лета,
но — улучив время и место —
остались в строю —
в строчке спорного текста,
в котором — ноздря в ноздю —
идут к финишу кони
апокалипсиса или просто —
оторвавшиеся от погони
жеребцы из разграбленного обоза.

Могли б кануть в чащу —
захлебнувшись клюквенным соком,
при разделе на «не наших» и «наших»
попасть под скорое
лезвие, сгинуть в лестничной клетке,
как бумажные лебеди —

оригами, выйти калеками
из покоев железной леди
или бронзового вождя.
Но вытянули струну —
пальцами сжав
аккорд, собранный по куску
на треснутом грифе.
Так эллины — видимо —
вылепляли из глины в мифах
каждый нюанс картины,
где в центре — огонь.
У оград снуют воробьи,
и хлебные крошки покидают ладонь
во имя пернатой любви.

Остались в прожилках,
вынесли быль и боль
случайными пассажирами,
успевшими сесть на борт
в чужом незнакомом городе
с улицами-метелицами,
несущими мимо барокко и готики
в сторону спальных районов из теста
ржаного с обилием грубой соли.
Сколько еще лететь-плыть-ехать —
знает только играющий соло
флейтист в руинах расколотого ореха,
но отвечает лишь эхо —
неразличимое эхо,
невнятное эхо,
лишь эхо,
эхо...



В широкополой шляпе
и ветхом плаще
легко показаться шатким
в мире вещей
героем психологической прозы —
неузнанным и сухим
на нитке постной,
сшивающей лоскутки
каких-то аллюзий
и низколетающих смыслов.
Катишься шариком в лузу
от борта, где размазали хоккеиста
из известной команды,
шепча: и все-таки — она вертится.

С ломкой загадкой взгляда,
с нарывающим заусенцем...
Серый, сутулый, нескладный —
разбившийся на абзацы,
в диапазоне — от Гоголя до Сартра —
и шире — до автостанции,
где пишется на коленке
провинциальным автором
повесть о маленьком человеке,
пока возится с радиатором
водитель в тельняшке.
Эдакий Мышкин —
бедняжка
прямиком из Швейцарии, где не вышло
полностью излечиться —
вот и дивишься тополиному пуху —
дескать, из крыльев ангельских. Чисто —
лопух лопоухий
возле бабушкиного забора
в селе, позабывшем имя
свое, но запомнившем вора,
что, видя добро, — никогда не проходит мимо.

Встанешь у зеркала —
шляпа на лоб, за воротом
терпко дымится сера,
и сердце встревоженным вороном
уже готово для крика...
«Доброе утро, последний герой», —
скрипнет виниловая пластинка
под иглой,
на которой теперь Виктор Цой...



И было слово.
И было солоно
на губах, словно
выпито море
со всеми его аллегориями
и приметами шторма,
что все время — так скор и
так — с корнем
вырван из горла —
как окрик
грубого часового
за колючей проволокой
горизонта, где слово —

это основа
долгого
взгляда в суть речи —
со стремлением встретить бога
или хоть что-нибудь бесконечное...

И было слово.
И были совы
над лесом сосновым —
будто бы невесомые.
Но все, что ты смог, —
внести прелый мох
на ладони
в облезлый подъезд.
Вот, мол, бедовые —
только мох-то и есть —
оправдание дна оврага,
где собирается влага
и скорченная коряга
напоминает ящера,
вымершего до пращура,
но норовящего
прыгнуть стрелюю в чашу.

И было слово.
И было снова
заглажено чувство скола,
по которому делятся стороны
света. Сосед репетирует соло
на сломанной
скрипке, и сонный
дом — перебирает сорные
травы разбитого инструмента.
Так пролетает лето —
вслед за совами —
и пусть на губах твоих солоно
и скоро — увы, уже скоро —
все это будет взорвано —
даешь себе слово,
снова даешь себе слово...



Люди-мамонты —
вымирали долго,
распадаясь на атомы
и на иголки
сосновой хвои
в тайге своей бурой,

где от пищи греховной
волки рвались из шкуры
с дьявольским рыком
в хищную пропасть ада,
где кровавая земляника
полнилась сладким ядом
в папоротниках болотных.
Люди-мамонты —
тянулись хоботами
к блистающим артефактам
ускользающей жизни,
но каменные топоры
уже перерубали жилы,
двери аорт отворив...

В пьяном оре шамана —
было так много мяса,
что земля — приняв форму шара —
делалась ярко-красной —
перенимая солнце,
в мертвой точке заката.
Рваные всхлипы совести
в остывающих глыбах гигантов —
походили на шепот молитвы,
обращенной к своей первобытной
истине, что в условиях палеолита
ритуально должна быть убита.

Люди-мамонты —
вымирали под звуки бубна
в пальцах высших приматов,
у которых резались зубы
и прорастало эго
жгучим цветком меж ребер.
Рев относило эхо
к черной горе, где в утробе
клокотала злоба вулкана,
желая выйти наружу —
так зарождалась Валгалла
с ревностным культом оружия.

Люди-мамонты —
оставили кости
в земле, чтобы, памятуя
о том, что все мы здесь гости, —
новое племя
держало их на ладонях
и время от времени
окропляло живой водою,
представляя,
как огромные бивни
покрываются белой эмалью
и из мифа становятся былью.



Геометрия
окна —
ветром
полна.
Однако —
прочь
все эти рамки.
Ночь —
как ночь —
даже в масштабах
пространства,
где небесная швабра
часто-часто
работает по углам,
гоняя вчерашний хлам —
так, что рука
дежурного по верхам —
высекает молнии.
Внизу —
затухают волны
будней и зуд
насущенных
потребностей.
Все, что на сушу
вышло из бездны —
приняло форму
холодного камня
или фарфора
на полочке в спальне.

Слух —
острее.
Стук
сердца — режет
из-под ребра
мякоть,
что стала груба
в хлебе из злака,
срезанного под корень
и запеченного в плоть.
Но кто-то же любит корку,
выхватив целый ломоть...

Вот так —
тик-так,
тик-так,
тик-так...
Впрочем, нет механизма
с пружиной и шестерней

в призме
новых часов,
отменивших старье.
Теперь микросхема
и есть — вселенная,
что шуруется через стекло.

Чай —
еще крепок,
еще горяч, но сейчас
это — нелепость
в условиях
сухости формул,
когда в окне нарисованном —
в качестве форы
очерченного объема —
сгущается тьма.
И лишь чувство дома —
окунает в купель дитя.



Свобода,
свобода...
Обод
крутящегося колеса
оставляет лишь колею,
водянистые — будто глаза
во хмелю —
безразмерные лужи
вчерашнего ливня.
Месяца три до стужи,
а потом — эти ивы
вдоль дороги —
разбитой вдрызг —
облетят и продрогнут
среди миллиона искр...

Путь неблизок.
Свобода,
свобода...
Какие там визы...
За воротом
стынет кожа
на встречном ветру.
Когда мир был моложе —
он тоже имел в виду
шелест да пыль
вешней листвы —
полшага вперед из толпы

и вот уж пусты
графы в анкете
для строгой инстанции.
Улететь бы на яркой ракете
туда, на что не грех подписаться...

Поле.
Полина, Поля,
пуля — и болью
наполнен
трепетный крик.
Мы падали навзничь —
каждый теперь старик —
как давеча
потешался начальник.
Продолжается вечеринка,
и тот, кто отделался чаем —
последнею спичкой чиркнул
под медленной аркой
и канул в ночи
Лето кончается — жалко,
но — помолчи...

Свобода,
свобода —
выписка из приказа.
Возможно — мы все еще молоды,
но это — заметно не сразу.



Осмысленно
вворачиваешь
лампочку — будто лысую
голову — не иначе
яркую — в плечи
патрона — по самую шею
на табурете под вечер
в обжитом помещении —
с чувством сиротским:
мол, лопнула нить вольфрама.
И вроде бы — выше ростом
стал, на носках упрямо
толкая себя к потолку,
где провод — как хвостик арбуза,
что сам себя не потянул —
сочтя спелый плод обузой.
Стоишь — напрягаешь кисть,
крутишь и вертишь,

а рядом — в потемках жизнь
еще бормочет о свете...

Шагается табурет —
рассохшийся атрибут
быта, в котором нет
звезд у царевны во лбу,
но есть — теплый войлок причуд
и щедрая горсть мелочей,
с которыми — впредь не чужд
мир обычных вещей.

Вврачиваешь,
вврачиваешь
лампочку —
чаще и чаще
число Фибоначчи
пальцев
на ломкой руке
строит в танце
логический ряд, но уже
подошло к нулю.
Щелкнул, сощурил
глаз — ибо ток иглу —
острую и большую —
обнажил
до жил.
Свет — опять внутри лампы,
где ты, слава богу, не джинн —
а новая тень в мягких тапках...



Глумился
голем
над смыслом,
и голая
голень
вязла в тине
вдоль топкого берега,
но мы смотрели, как в тигле
выплавлялась иная материя,
и нам было тепло —
особенно после ливня,
когда до нитки, до костей, до того,
что ближе к телу либо
к сердцу,
вновь остались сырыми.
В огне — вместо духа и сына —
нам чудился жар сентенций,

хотелось — если уж греться —
то чем-нибудь сиротливо
глядящим из темноты.
Да, голем — казалось, что это ты —
новорожденный,
хрупкая кукла богов,
кусок болотного дерна,
оживший под сапогом
хромого скитальца.
Но вышел на свет
и стал тем, чего стоит бояться
на встречной с тобой полосе.

Глина
плюс лава —
да пепел, да слива,
раздавленная
в руке —
вот и все,
что трактуется на твоём языке
тому, кто обедал овсом
у скупого костра.
А ближе тебя подпустишь —
в пальцах твоих остра
у горла узкая
сталь ножа —
впрочем, мечталось же,
чтоб воспарила душа —
раз уж скульптурить о душе.

Но — голем,
по-прежнему — голем...
Засыпая потным и голым —
видишь цветущий сад,
где под яблоней —
наши дети сидят,
не рожденные в жизни явленной...



Шляпа — кругла
вокруг головы,
широкопола, как крыша ума
носителя, что, увы,
порой не хозяин
ни шляпе, ни голове...
Он с раннего детства — раззява,
ему бы рыскать в траве
в поисках связки ключей,
выпавшей из кармана,

или монет — еще более мелких вещей —
но в шляпе он — Иван Карамазов,
рассеянный Дон Жуан,
забывший, что сердце — камень
у статуй убитым мужьям —
да еще донжуановыми руками.

Глядишь из окна:
шляпа — предмет искусства —
будто б слегка велика,
а может, это лишь чувство
узости разума,
воплощенного в голове
всех носителей разом —
живущих в абстрактной Москве
или — уж если еще абстрактней —
в Павлове-на-Оке.
На-ка —
и ты примерь
в своих Уренгое,
Кинешме или Ухте.
Хватит пустых аллегорий —
сам же быть в шляпе хотел.

Вечер сгустил тона.
Серая моль над шкафом,
но все, что реальность дала,
ты еще не прошляпил...



Ел эскимо —
холодил языка
кончик — словно зимой
ртом ловил свысока
выпавший снег.
Все иное казалось пустым —
невкусным, несладким. Эх —
как же давно эти бразды
правления цветом и звуком
пребывают в цепких руках
не Большого Брата или его внука,
которого тот ругал
за двойки по физике
и испорченный вкус,
изображая Фонвизина,
крутящего сталинский ус,
а в руках скупой глухоты,
упаковавшей мир

в мокрый картон, где ты —
в слишком тесной связи с людьми.

Ходил по проспекту —
прислушивался к шагам.
Таяло, таяло лето
и эскимо — как душа
шоколадного эльфа —
покидала толкиеновский сюжет,
в котором бог метит шельму,
рычащую, что бога нет...

Но бог — в тусклых прожилках
августовского листа,
в небе, где пассажирам,
рассаженным по местам,
предлагают соки и воды,
в солнечном робком луче...
Ел эскимо — был свободен
в каком-то детском ключе.

Ведь знают уста младенца —
даже внутри мужей —
что в маленьких радостях сердцу
не так беспросветно уже...

